

Свенцицкий Валентин Павлович

Антихрист

Записки странного человека

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
В15

В15 **Валентин Павлович С.**
Антихрист: Записки странного человека / Свенцицкий Валентин Павлович –
М.: Книга по Требованию, 2022. – 188 с.

ISBN 978-5-519-84991-3

ISBN 978-5-519-84991-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

АНТИХРИСТЪ.

(Записки страннаго челоуѣка).

«И поклонятся Ему всѣ живущіе на землѣ, которыхъ имена ненаписаны въ книгѣ жизни у Агнца, закланнаго отъ созданія міра».

(Откр. Іоанна гл. 18, 8).

«Въ любви нѣтъ страха, но совершенная любовь изгоняетъ страхъ; потому что въ страхѣ есть мученіе».

(1-ое пос. Іоанна Гл. 4, 18).

Вмѣсто предисловія.

Я хочу написать свою исповѣдь. Но кто вѣритъ публичной исповѣди? Да и какое имѣю я право публично исповѣдываться? Для этого нужно быть Августиномъ, Руссо или Толстымъ. А я—только странный челоуѣкъ. Кому нужна моя исповѣдь? Между тѣмъ, я чувствую, что исповѣдаться мнѣ необходимо, и именно публично. Почему?... но можетъ быть это станетъ яснымъ изъ дальнѣйшаго. Покуда повѣрьте на слово, что это необходимо.

Съ одной стороны необходимо,—съ другой невозможно. Какъ выйти изъ этихъ противорѣчій?

Я рѣшилъ на очень рискованный, но единственный, пришедшій мнѣ въ голову, выходъ: я рѣшилъ свою исповѣдь озаглавить: «Записки страннаго челоуѣка».

Съ перваго взгляда можетъ показаться непонятнымъ, въ чемъ тутъ выходъ. Развѣ что-нибудь мѣняется

отъ заглавія? Увѣряю васъ, очень даже мѣняется. И я увѣренъ, что при такомъ заглавіи, мнѣ никто не повѣритъ, что я исповѣдуюсь.

Въ самомъ дѣлѣ,—чтобы не написалъ я, какую интимнѣйшую сторону, фактическую-ли, психологическую-ли, не затронулъ, съ какою-бы точностью она не соотвѣтствовала дѣйствительности,—я знаю напередъ, что всякій читатель подумаетъ: это онъ нарочно отъ своего имени пишетъ, это такъ себѣ, литературная форма, для живости, такъ сказать, рассказа.

Если-же я, разъ въ жизни, съ дѣйствительной откровенностью, въ этихъ «Запискахъ» выложу всю грязь, всю путаницу, всю тьму своей души,—мнѣ никто не скажетъ, что ты, молъ, мерзавецъ,—а подумаетъ: авторъ должно быть хорошій человѣкъ, коли такого мерзавца сумѣлъ описать.

Если-же, наоборотъ, я вздумая рассказать о чемъ-нибудь хорошемъ въ себѣ,—я увѣренъ, что этому хорошему всѣ порадуются отъ души. Да и почему не порадоваться, когда въ литературномъ типѣ найдутся положительные стороны? О героѣ «Записокъ» не подумаютъ, какъ объ авторѣ «Исповѣди»: прекраснодушничаетъ, рисуется,—говоритъ, хочу каяться, а самъ хвастается.

И такъ, что невозможно для «Исповѣди», то возможно для «Записокъ».

Одно только меня пугаетъ, и такъ пугаетъ, что я чуть-чуть даже изъ-за этого вовсе не отказался писать «Записки». Дѣло въ томъ, что я, какъ странный человѣкъ, буду писать, конечно, странные вещи; но, такъ какъ онѣ, въ большинствѣ случаевъ, будутъ далеко для меня не лестны, то несомнѣнно, пиши я «Исповѣдь», меня могли бы назвать какимъ угодно ругательнымъ словомъ, но во всякомъ случаѣ приняли бы все за чистую монету.

Теперь-же, въ «Запискахъ», всѣ эти странности будутъ отнесены за счетъ неумѣлости автора, усмотрятъ «стремленіе къ эффектамъ», нарушеніе художественной правды и массу другихъ преступленій,—словомъ не повѣрятъ. Боюсь, что скажутъ,—въ дѣй-

ствительности это невозможно, это выдумка. Не въ самолюбіи тутъ дѣло. Но каково это слушать чловѣку, который знаетъ, что все написанное имъ безусловная правда, и который готовъ ручаться за каждое написанное имъ слово...

Но другого выхода нѣтъ и приходится пренебречь этимъ неудобствомъ.

Дабы съ первыхъ же страницъ у меня съ читателями не возникало недоумѣній, я долженъ отвѣтить еще на одинъ вопросъ, который предвижу: «Если вы такъ хотите, чтобы ваши записки не приняли за «Исповѣдь», то зачѣмъ вы изо всѣхъ силъ хотите доказать, что это есть именно «Исповѣдь»?... Вѣдь если читатель повѣритъ всему тому, что сейчасъ здѣсь написано, онъ отнесется, очевидно, къ «Запискамъ» не какъ къ литературному явленію, а какъ къ «Исповѣди» и тогда никакого «выхода» не получится?».

Вотъ въ томъ то и дѣло, что это «очевидно», а потому всякій читатель будетъ разсуждать такъ: знаемъ мы вашего брата, все это литературные выкрутасы, будь это дѣйствительно «Исповѣдь», развѣ бы онъ все это такъ откровенно написалъ-бы. И даже тѣ, которые безъ всякихъ предисловіи еще склонны были бы подумать,—не о себѣ-ли, молъ, авторъ пишетъ,—теперь, послѣ этого предисловія, какъ бы я не божился, все равно мнѣ не повѣрятъ.

Больше того. Признайтесь, прочтя это предисловіе, вы подумали: авторъ разводитъ такую канитель, потому что считаетъ это характернымъ для своего героя... способъ старый, скучный и неудобный. Готовъ спорить, что самую эту приписку, которую я слѣлалъ, самое это угадываніе вашей мысли, опять таки будетъ объяснено, какъ «художественный пріемъ». Да еще пріемъ-то «заимствованный у Достоевскаго». И такъ безъ конца. И слѣды окончательно замечены. Странное разсужденіе,—скажете вы? Возможно. Но только условимся напередъ: не удивляйтесь ничему въ «Запискахъ», и помните, что пишетъ ихъ странный чловѣкъ.

Говорятъ, личность больше всего выражается въ любви. Достаточно прослушать исторію любви какого-нибудь человѣка, чтобы узнать его лучше и полнѣе, чѣмъ за цѣлую жизнь знакомства. Я согласенъ съ этимъ. И потому, такъ сказать, канвой для «Исповѣди» выбираю свой «романъ». Но я сомнѣваюсь, что романъ самъ по себѣ, во всѣхъ своихъ сокровенныхъ уголкахъ, могъ быть понятъ. Чтобы понять его и, такимъ путемъ, спуститься на самое дно души,—необходимо знать хотя бы одну, основную черту характера человѣка. Вотъ потому я, прежде чѣмъ рассказывать о своемъ романѣ, поразскажу просто о себѣ. Вы думаете, будетъ скучно? Не бойтесь. Конечно, я не беллетристъ, и очень хорошо сознаю это, но если вы хоть разъ по человѣчески отнесетесь къ искреннему страданію,—вы и скучныя вещи прочтете со слезами. Вы пожалуй скажете: хватитъ ли у васъ еще таланта заставить насъ плакать? Но Боже мой, неужели, чтобы рассказать правду, чтобы рассказать нестерпимыя свои муки, нуженъ талантъ, и неужели плакать надъ страданіями другого нужно заставлять!...

И такъ, что-же прежде всего я могъ бы сказать о самомъ себѣ?

I.

О самомъ себѣ.

Больше всего и чаще всего я думаю о смерти. Она вызываетъ во мнѣ ужасъ и отвращеніе. Какъ это ни странно, но, можетъ быть, одна только смерть вызываетъ во мнѣ дѣйствительно живое чувство. Часто гляжу я на свои руки и думаю: черезъ нѣсколь-ко десятковъ лѣтъ, можетъ быть черезъ годъ, можетъ быть черезъ день я стану трупомъ, это мясо начнетъ гнить, отвратительнымъ удушливымъ запахомъ наполнить комнату... При этой мысли я начинаю дрожать, чувствую, какъ холодѣютъ руки, ноги. И нестерпимо тоскливо, и нестерпимо мучительно становится на душѣ...

Когда я думаю о смерти, можетъ быть, потому такъ много и думаю о ней,—мнѣ, словно, хочется въ чемъ-то себя увѣрить, словно это еще не такъ, не навѣрно, что нужно еще что-то узнать... Но, въ результатѣ, всегда одно и то-же: умереть неизбежно. И новые приступы мучительнаго ужаса, до слезъ, до иступленія, до кусанія подушки и нелѣпаго крика... а затѣмъ опять что-то не то и не то...

Я не могу встрѣтить на улицѣ гробъ, чтобы не пойти провожать его до кладбища. Мнѣ противно смотрѣть на застывшее, пожелтѣвшее мертвое лицо, на холодныя, словно изъ воску сдѣланныя, руки; у меня кружится голова отъ смѣси приторнаго землянаго запаха разлагающагося трупа, съ запахомъ воска и ладона,—но во мнѣ исчезаетъ всякая воля, какъ автоматъ смотрю я на чужое, когда-то смѣявшееся лицо, какъ автоматъ иду до могилы.

. На кладбищѣ. я всегда стараюсь встать поближе къ краю и ловлю каждый моментъ, каждое движеніе гроба. Когда бросаютъ первую лопату земли,—напряжение достигаетъ высшей точки. Этотъ стукъ, словно въ пустую грудь, эти въ пыль разбивающіеся комья земли,—буквально физической болью отдаются въ моемъ сердцѣ.

Я возвращаюсь съ кладбища разбитый и больной. Въ каждомъ встрѣчномъ вижу я мертвеца. Мнѣ какъ-то странно, что они двигаются. Я почти не замѣчаю ихъ платья, ихъ усовъ, ихъ бороды, ихняго тѣла,—но почти до галлюцинаціи ясно вижу ихъ скелетъ, ихъ кости, черепъ, глазныя впадины, страшный черный оскаленный, смѣющийся ротъ. Чѣмъ здоровѣе и жизнерадостнѣе лицо, тѣмъ яснѣе представляю я себѣ его лежащимъ въ гробу, съ вѣнцомъ на головѣ, съ посинѣвшими щеками, готовыми разложиться.

Внутри себя я чувствую такую безжизненную пустоту, такое спокойствіе,—какое, мнѣ думается, обыкновенно наступаетъ только послѣ смерти,—ни страха, ни отвращенія, скорѣй даже едва уловимое чувство удовлетворенія, пожалуй даже торжества, какъ будто бы я знаю что-то, важное и неизбѣжное,—и между тѣмъ, никому, кромѣ меня, неизвѣстное...

Я началъ думать о смерти очень рано. Можно сказать, какъ помню себя. Когда мнѣ было лѣтъ семь, я часто, въ непонятномъ испугѣ, просыпался ночью, боязливо крестился, мнѣ почему-то казалось, что я умираю; но сейчасъ-же радостно вспоминалъ, что мнѣ еще только семь лѣтъ, жизнь вся впереди, смерть еще далеко, далеко,—и засыпалъ успокоенный....

Но мысль о смерти овладѣла всецѣло существомъ моимъ со смерти бабушки.

Какъ сейчасъ вижу я себя въ маленькой полутемной комнатѣ. Окна занавѣшены, сквозь нихъ просвѣчиваетъ сѣрое, мутное утро.

Я сижу въ углу, на диванѣ, усталый и измученный безсонной ночью. Чувство напряженного ожиданія притупилось; глаза устали смотрѣть на низкую закрытую дверь, за которой давно уже не слышно ни разгово-

ровъ, ни стоновъ, ни кашля съ какой-то особенной булькающей хрипотой...

— Анюта, а Анюта, что это, звонятъ?—говорить за дверью глухой, до неузнаваемости измѣнившійся голосъ.

— Нѣтъ, бабушка, ничего, такъ это вамъ.

Неужели умереть, неужели умереть,—начинаю повторять я, зачѣмъ-то крестя вокругъ себя темное пространство. И я чувствую, какъ вздрагиваютъ мои губы, давить горло и тупой ужасъ охватываетъ со всѣхъ сторонъ.

— И я умру?—безпомощно носится въ моей головѣ: да, да, обязательно умру, ничего противъ этого нельзя сдѣлать, по тѣлу пройдетъ судорога, сердце остановится, положатъ на столъ...

— Анюта, а Анюта....

— Что бабушка?

— Опять звонятъ....

— Богъ съ вами, спите себѣ, никакого звона нѣтъ.

— Такъ это вѣрно гробъ заколачиваютъ, услышишь завтра.

Бабушка вздыхаетъ и шепчетъ:

— О Господи.. о-охо-хо...

Помню, какъ, придя на слѣдующій день изъ гимназій, я подошелъ къ бабушкиной комнатѣ, но противъ ея двери стояло кресло...

Я понялъ, что это значило.

И мнѣ это показалось такимъ страннымъ, какъ будто я въ первый разъ узнавалъ, что люди умираютъ.

— Кѣгда?—Зачѣмъ-то спросилъ я проходившую Аннушку.

— Въ девять часовъ.

— Туда можно?

— Можно.

Я взошелъ. Мнѣ бросился въ глаза край длиннаго бѣлаго стола, кривые подсвѣчники, монахиня, какія-то пустыя бутылки на окнѣ.

Но взглянуть въ лицо умершей я рѣшился только

въ церкви. Она лежала въ бѣломъ чепцѣ; морщины ея разгладились, носъ опустился, губы посинѣли и были полуоткрыты... Всю дорогу до кладбища я ничего не замѣчалъ передъ собой...

И только когда гробъ опустили въ могилу и засыпали землею, предо мной, въ первый разъ, prominently не желтое безжизненное лицо, а другое, съ мелкими, маленькими морщинками, доброй улыбкой, ласковыми близорукими глазами, повязанное черной косынкой, изъ подъ которой выбились такіе мягкіе, сѣдые волосы.

И мнѣ стало жалко всѣхъ, и ее, и себя, и священника, и всѣхъ, всѣхъ людей; и деревьевъ, которыя стояли такіе бѣлые, блестящіе, покрытые мягкимъ пушистымъ снѣгомъ, въ недвижномъ, морозномъ воздухѣ...

Я почти убѣждалъ съ кладбища. Мнѣ необходимо было остаться одному.

— Я не могу, не могу больше, — какъ вихрь неслось въ моей головѣ: или пусть сейчасъ, сію минуту тѣло мое станетъ такимъ же восковымъ, начнетъ такъ-же отвратительно пахнуть, или жить, жить послѣ смерти, вѣчно, всегда... и пусть тогда впереди гробъ и яма—они не страшны. О, почему я не могу повѣрить въ безсмертіе,—вѣдь вѣрятъ-же десятки тысячъ... На чемъ основана ихъ вѣра кромѣ страха смерти?... Есть-же у нихъ что нибудь?... Безсмертіе должно быть, должно быть... Боже мой, спаси меня, дай мнѣ вѣру...

Я долго не возвращался домой. Тамъ уже начинали беспокоиться. Когда я пришелъ, всѣ сидѣли въ столовой. Было нѣсколько человѣкъ близкихъ знакомыхъ. О чемъ-то громко разговаривали. Одинъ изъ моихъ братьевъ хохоталъ съ полнымъ ртомъ.

Я сѣлъ за столъ и тутъ только понялъ, что мнѣ стоило этотъ день...

— Люди не смѣютъ жить и не вѣрить въ безсмертіе... неожиданно для себя выкрикнулъ я, и подумалъ—я это говорю или нѣтъ. Я чувствую свое безсмертіе, какъ вижу дерево, какъ небо, какъ землю...

Безсмертіе не мечта;—жизнь мечта, если нѣтъ безсмертія—продолжалъ я.

И я видѣлъ, что всѣ какъ-то странно смотрятъ на меня. Голова у меня кружилась и всего меня непроизвольно покачивало изъ стороны въ сторону. Я долго говорилъ о безсмертіи, почти не сознавая, что я дѣлаю... Впечатлѣніе видимо было огромное. Когда я кончилъ и осмотрѣлся, всѣ сидѣли серьезные и блѣдные. Никто не шевелился, только мать моя быстро сказала:

— Счастливъ, кто можетъ вѣрить, какъ ты, но не всѣмъ это дано. И совсѣмъ шопотомъ прибавила: я не знала, что ты такой.

Говорю по совѣсти, я долженъ отдать себѣ эту справедливость: отъ этихъ словъ моей матери мнѣ стало стыдно, гдѣ-то глубоко сжалось сердце тяжелой тоской, мнѣ хотѣлось броситься къ ней и сказать ей всю правду, что я обманываю себя и ихъ, что я не вѣрю въ вѣчную жизнь, но что я не въ силахъ жить, не въ силахъ, не въ силахъ идти медленнымъ, но неизбѣжнымъ шагомъ въ эту проклятую яму, умолять, чтобы она спасла меня, спрятала, унесла отъ этого дикаго конца...

На одинъ мигъ, правда только на одинъ мигъ, но все-таки это было... А затѣмъ, сейчасъ-же я увидаль, что братья и знакомые смотрятъ на меня по-новому. Я почувствовалъ себя выше ихъ, особеннымъ... я потянулся за хлѣбомъ и мнѣ казалось, что теперь всѣ обращаютъ вниманіе на каждое мое движеніе, и самъ я обратилъ необычное вниманіе на то, какъ я это дѣлаю...

Съ этого дня вся моя жизнь приняла новый оборотъ, я объявилъ себя вѣрующимъ христіаниномъ, — я увѣрилъ всѣхъ, кого могъ, въ своемъ твердомъ намѣреніи сдѣлаться миссіонеромъ. Въ этомъ пунктѣ я самъ не въ силахъ разобраться въ себѣ. Было ли это сплошь сознательной ложью, или здѣсь заключалась все-таки и нѣкоторая правда? А главное, если это была ложь, то для чего? Безусловно могу сказать слѣдующее. Ни одной минуты я не вѣрилъ въ то, что стану миссіонеромъ, ни одной минуты я не считалъ себя христіаниномъ, — но я не могъ не лгать. Я не

могъ не лгать потому, что эта ложь была необходима для моей жизни.

Мое мнимое христіанство было оружіемъ, которымъ я боролся противъ призрака смерти, накладывавшаго свою лапу на всю мою жизнь. Не будь христіанства, смерть довела бы меня до самоубійства. Страхъ передъ неизбѣжностью смерти, невозможность медленно ожидать ея, заставили бы силой приблизить конецъ. И хотя я не вѣрилъ въ Христа ни одной минуты, но лишь только обычными разсужденіями о грядущемъ уничтоженіи я доводилъ себя до знакомаго, нестерпимаго, леденящаго ужаса,—я въ отчаяніи и смятеніи хватался за религію.

Тутъ есть одна чрезвычайно странная вещь, я совершенно не въ силахъ себѣ ее объяснить,—пускай ужъ этимъ занимаются психологи,—но я готовъ поклясться въ правдивости своей «исповѣди». Дѣло въ томъ, что религія при полномъ отсутствіи вѣры имѣла, какъ я уже сказалъ, такое цѣлительное дѣйствіе, только при одномъ необходимомъ условіи: окружающіе люди должны были искренно считать меня вѣрующимъ. Повторяю, я не знаю, почему это было необходимо, но это такъ. Только при этомъ условіи идея безсмертія и всеобщаго воскресенія, въ которыхъ самъ я не вѣрилъ, могли спасти меня. Отсюда получалась такая, на примѣръ, нелѣпость. Мелкая, но страшно характерная. Я тщательно соблюдалъ посты. Ни при комъ изъ знакомыхъ, какъ бы ни былъ я голоденъ, не рѣшился бы я въ постный день съѣсть хотя бы кусочекъ скоромной пищи. Меня всѣ считаютъ постникомъ и аскетомъ, и такая репутація дѣйствительно необходима для меня. Но въ тѣ же постные дни я заходилъ въ какой-нибудь ресторанъ, и безъ малѣйшей борьбы съѣдалъ скоромный обѣдъ. И вполне понятно, почему безъ малѣйшей борьбы. Я вовсе не вѣрилъ въ посты, — мнѣ необходимо было считаться христіаниномъ до мельчайшихъ, даже внѣшнихъ подробностей, ибо такимъ путемъ я могъ, по крайней мѣрѣ, настолько освободиться отъ власти смерти, чтобы имѣть силы жить.